

Максим Горький

КАИН И АРТЕМ

Каин был маленький юркий еврей, с острой головой, с жёлтым худым лицом; на скулах и подбородке у него росли кустики рыжих жёстких волос, и лицо смотрело из них точно из старой, растрёпанной плюшевой рамки, верхней частью которой служил козырёк грязного картуза.

Из-под козырька и рыжих, точно выщипанных бровей сверкали маленькие серые глазки. Они очень редко останавливались подолгу на одном предмете, но всегда быстро бегали из стороны в сторону и всюду сеяли улыбки — робкие, заискивающие, льстивые.

Каждый, кто видел эти улыбки, сразу понимал, что основное чувство человека, который так улыбается, — боязнь пред всеми, боязнь, через секунду готовая повиситься до ужаса. И поэтому каждый, если ему было не лень, усиливал злыми насмешками и щелчками это всегда напряжённое чувство еврея, пропитавшее собою не только его нервы, но, казалось, и складки парусиновой одежды, — она, облекая от плеч до пят его костлявое тело, тоже вечно трепетала.

Имя еврея было Хаим, но его звали Каин. Это проще, чем Хаим, это имя более знакомо людям, и в

нѣмъ есть много оскорбительнаго. Хотя оно и не шло къ маленькой, испуганной, слабосильной фигуркѣ, но всемъ казалось, что оно вполне точно рисуетъ тело и душу еврея, в то же время обижая его.

Онъ жилъ среди людей, обиженныхъ судьбой, а для нихъ всегда приятно обидѣть ближняго, и они умеютъ делать это, ибо пока только такъ они могутъ мстить за себя. А обижать Каина было легко: когда надъ нимъ издевались, онъ только виновато улыбался и порой даже самъ помогалъ смеяться надъ собой, какъ бы платя впередъ своимъ обидчикамъ за право существовать среди нихъ.

Жилъ онъ торговлей, конечно. Онъ ходилъ по улицамъ съ деревяннымъ ящикомъ на груди и тонкимъ голосомъ кричалъ:

— Вак-ша! Спичкэ! Булавкэ! Шпилькэ! Голантегей-ного товаг-у! Разный мьелкий товаг-у!

Ещё одна черта: уши у него были большіе, оттопыренные, и они постоянно прядали, какъ у пугливой лошади.

Торговалъ онъ на Шихане, — в мѣстности, где отложилась городская голь и рвань — разные «забракованные люди». Шиханъ — узкая улица, застроена старыми, высокими домами; в нихъ помещались ночлежки, трактиры, хлебопекарни, лавки съ бакалеей, старымъ железомъ и разной рухлядью; ихъ населяли воры и приёмщики краденнаго, мелкіе торгаши и торговки съестнымъ. В

этой улице всегда было много тени, много грязи и пьяных; летом в ней всегда стоял густой запах гниения и перегорелой водки. Солнце, точно боясь осквернить свои лучи грязью, только ранним утром осторожно и ненадолго заглядывало в эту улицу.

Она расположилась по склону горы, недалеко от берега большой реки, и постоянно была полна судорабочими, матросами с пароходов, крючниками. Они тут пьянствовали и наслаждались по-своему, и тут же, в укромных уголках, вору дожидались их опьянения. Около тротуаров улицы стояли корчаги торговки пельменями, лотки пирожников и торговцев «требухой». Толпы рабочего люда с реки жадно пожирали горячую пищу, пьяные дико пели песни и ругались, продавцы звонко зазывали покупателей, хваля свои товары; грохотали телеги, с трудом пробираясь сквозь группы людей, толпившихся в улице, покупающих или продающих, в ожидании работы или удачи. Хаос звуков вихрем носился в узкой канаве улицы, разбиваясь о грязные стены её зданий.

В этой канаве кипящей грязи, полной оглушающего шума и циничных речей, всегда шныряли и возились дети, — всех возрастов, но одинаково грязные, голодные и развращённые. Они бегали тут с утра до вечера, существуя за счёт доброты торговки и ловкости своих рук, а ночью

спали где-нибудь в стороне — под воротами, под ларём пирожника, в углублении подвального окна. С рассветом эти тощие жертвы рахитизма и скрофулёза уже были на ногах, чтобы снова воровать вкусные куски пищи, выпрашивать негодные для продажи. Чьи это были дети? Всех...

В этой улице изо дня в день и бродил Каин, выкрикивая свои товары и продавая их женщинам улицы. Они занимали у него на несколько часов двугривенный с обязательством уплатить двадцать две копейки и всегда аккуратно платили. Вообще, у Каина были в улице большие дела: он покупал у загулявших рабочих рубахи, картузы, сапоги и гармоники, у женщин — юбки, кофты, грошовые украшения, потом променивал эти вещи или продавал их с гривенником барыша. И ежечасно подвергался насмешкам, побоям, а иногда его даже обирали. Он не жаловался на всё это, а лишь улыбался трагически кроткими улыбками.

Бывало, захваченный в одном из тёмных углов улицы двумя-тремя молодцами, доведёнными голодом или похмельем до готовности хоть на убийство, еврей, сбитый на землю кулаком или ужасом, сидел у ног своих грабителей и, трепещущий, судорожно роясь в карманах, умолял их:

— Господа-а! Добрые господа! Не берите всех... Как я буду торговать?

И худое лицо его всё дрожало от бесчисленных улыбок.

— Ну, не пищи! Давай только тридцать копеек...

Эти добрые господа хорошо понимали, что не следует вырывать у коровы всё вымя для того, чтоб достать молоко.

Случалось, он вставал с земли и шёл рядом с ними по улице, балагуря и улыбаясь; они тоже снисходительно разговаривали и посмеивались над ним, все держали себя просто и открыто. Каин после такого события казался ещё более худым и — только.

С кагалом он, должно быть, жил не в ладу. Очень редко видели его рядом с единоверцем, и всегда было заметно, что единоверец относится к Каину свысока и презрительно. Был в улице слух, будто бы на Каина наложен «херем», и одно время уличные торговки называли его проклятым.

Едва ли это было верно, хотя за Каином и водились несомненные признаки еретичества: он не соблюдал суббот и употреблял в пищу «некошерное» мясо. К нему приставали, прося и требуя объяснить, как он смел есть то, что запрещено его верой? Он сжимался в комок, улыбался и отшучивался или убегал, никогда ничего не рассказывая о вере и обычаях евреев.

Даже несчастные детишки этой улицы преследовали его, бросая ему в ящик и спину комья грязи, корки арбузов и всякую дрянь. Он старался остановить их ласковыми словами, но чаще убегал от них в толпу, куда они не шли за ним, боясь, что там их растопчут.

Так день за днём жил Каин, всем знакомый и всеми гонимый, торговал, дрожал от страха, улыбался, и вот — однажды судьба тоже улыбнулась ему...

В каждом уголке жизни есть свой деспот. На Шихане эту роль играл красавец Артём, колоссальный детина, с головой в густой шапке кудрявых чёрных волос. Эти мягкие волосы причудливыми кольцами сыпались ему на лоб, спускаясь до прелестных бархатных бровей и огромных карих глаз, продолговатых, всегда подёрнутых какой-то маслянистой влагой. Нос у него был прямой, антично правильный, губы красные, сочные, прикрытые большими чёрными усами; всё его круглое, чистое, смугловатое лицо было на диво правильно и красиво, глаза, подёрнутые туманом, очень шли к нему, как бы дополняя и объясняя его красоту. Широкогрудый, высокий и стройный, всегда с улыбкой на губах, он был на Шихане грозой мужчин и радостью женщин. Большую часть дня он проводил лёжа где-нибудь на солнечном припёке — массивный,

ленивый, впивающий воздух и солнечный свет медленными вздохами, от которых его могучая грудь вздымалась высоко и ровно.

Ему было лет двадцать пять. Года три тому назад он явился в город с артелью крючников-промзинцев ¹ и после навигации остался зимовать, поняв, что может и не работая приятно жить на средства своей силы и красоты. И вот с той поры он превратился из деревенского парня и крючника в любимца торговок пельменями, лавочниц и иных женщин Шихана.

Этот род занятий позволял ему иметь пищу, водку и табак всегда, когда он желал; больше он ничего не умел желать и — так жил.

Женщины ругались из-за него, дрались; на замужних сплетничали мужьям, мужья и возлюбленные жестоко били их, — Артём был равнодушен ко всему этому, он грелся на солнце, потягиваясь, как кот, и ждал, когда в нём зародится одно из немногих доступных ему желаний.

Обыкновенно он лежал на горе, в которую упиралась улица. Тут прямо перед собой он видел реку, за ней, вплоть до горизонта, широко расстилались луга, кое-где на их ровном зелёном

¹ Промзино — село Симбирской губ., откуда выходят на Волгу лучшие, то есть сильнейшие крючники. — М. Г.

ковре лежали серые пятна — это деревни. Там — всегда тихо, ясно, зелено... А повернув голову влево, он видел свою улицу от начала до конца, в ней кипела шумная жизнь; всматриваясь в её тёмную суету, он различал фигуры знакомых людей, слышал голодный рёв и, может быть, думал о чём-нибудь. Вокруг него, по горе, рос густой бурьян, торчали одиноко чахлые берёзы, обломанные кусты бузины, — тут золоторотцы переживали похмелье и играли в карты, чинили платье или отдыхали от работы и драк.

Среди них Артём был на дурном счету. Он неодолимо силён и часто озорничал, а потом очень уж легко он добывал свой хлеб. Это возбуждало зависть; и к тому же он редко делился с кем-либо своей добычей. Вообще товарищеские чувства в нём были не развиты, и он не тяготел к общению с людьми. Если к нему приходили и начинали говорить с ним, он отвечал охотно, но сам не начинал разговора; если у него просили денег на похмелье — он давал, но по собственному почину никогда не угощал знакомых. А среди них вошло в обычай каждую добытую копейку пропивать и проедать в компании.

Сюда, в кусты, к Артёму являлись посланники любви — в виде оборванной и чумазой девочки из улицы или такого же чумазого мальчика. Это очень юные люди, лет семи-восьми, редко — десяти, но

они всегда проникнуты сознанием глубокой важности возложенного на них поручения, говорят они вполголоса, и на их рожицах мина таинственности...

— Дяденька Артём, тётка Марья велела тебе сказать, что муж у неё уехал, так чтобы ты сегодня нанял лодку да в луга бы с ней поехал...

— Та-ак, — лениво тянет Артём, и его прекрасные глаза мутно улыбаются.

— Непременно чтобы...

— Могу... А... вот что... это — какая она, тётка-то Марья?

— Лавочница, чай, — укоризненно говорит посланец.

— Лавочница... н-да? Это — которая рядом с железной лавкой?

— Чай, рядом-то с железной лавкой Анисья Николаевна... что уж!

— Ну-ну, я, брат, ведь знаю... Я ведь это так... Для шутки говорю!.. будто позабыл... а ведь я Марью знаю.

Но посланец не уверен в этом, он хочет хорошо исполнить своё поручение и настоятельно объясняет Артёму:

— Марья — это которая маленькая, румяная, рядом с рыбой...

— Ну-ну!.. Которая рядом с рыбой. Вот! Чудашка ты!.. ведь я разве спутаю? Ладно, скажи ей, Марье, — еду. Едет, мол. Иди!

Тогда посланец корчит сладчайшую рожу и тянет:

— Дяденька Артём, дай копеечку!

— Копеечку? А коли нету её? — говорит Артём, засовывая обе руки разом в карманы своих шаровар. И всегда находит какую-нибудь монету. Радостно усмехаясь, посланец мчится возвестить влюблённой печёночнице об исполненном поручении и с неё тоже получить награду.

Он знает цену денег и нуждается в них не только потому, что голоден, но и потому, что он курит папиросы, пьёт водку и имеет свои маленькие сердечные дела. На другой день после такой сценки Артём ещё более, чем всегда, недоступен впечатлениям бытия и ещё более красив своей редкой красотой могучего, но смиренного животного. Так тянулось это сытое, почти бессознательное существование, спокойное, несмотря на множество ревнивцев, ревнивиц и завистников, спокойное потому, что оно охранялось страшной силой Артёмова кулака.

Но иногда в карих глазах красавца сгущалось что-то грозное, тёмное; его бархатные брови сурово сдвигались, смуглый лоб разрезывала глубокая морщина. Он вставал и шёл из своего логовища в

улицу, и чем ближе он подходил к её суете, тем более округлялись зрачки его глаз, чаще вздрагивали тонкие ноздри. На левом плече у него висит жёлтая куртка из крестьянского сукна, правое покрыто рубахой, и сквозь неё видно, какое это могучее плечо.

Сапог он не любил и ходил всегда в лаптях; белые онучи, красиво перекрещенные оборами, рельефно обрисовывали икры ног. Шёл он медленно, как большая грозовая туча...

Улица знает его повадки и уже по лицу видит, чего ей ждать от Артёма. Раздаётся предупреждающий шёпот:

— Артём идёт!..

Красавцу торопливо очищают дорогу, отодвигая в сторону лотки с товарами, корчаги с горячим, заискивающе улыбаются ему, кланяются... Он же идёт среди знаков внимания к нему и боязни пред его силой, идёт угрюмый, молчаливый, дико прекрасный, как большой зверь.

Вот его нога задевает за лоток с рубцом, печёнкой, лёгким — и всё это летит на грязную мостовую. Торговец отчаянно вскрикивает и ругается.

— А ты что стоишь на дороге? — спокойно, но зловеще спрашивает Артём.

— Какая тебе, быку, тут дорога? — воет торговец.

— А ежели я тут хочу ийти?

Под скулами Артёма вздуваются большие желваки, и глаза у него — как раскалённые докрасна гвозди. Торговец видит это и бормочет:

— Узка тебе улица-то...

Артём медленно двигается дальше. Торговец идёт в трактир, берёт там кипятку, моет в нём свой товар и через пять минут снова кричит на всю улицу:

— Пичонка, лёхко, сердце горяче! Матрос! Иди на почине — язык отрежу! Тётка, купи горло! Кому нужно сердце горяче? Пичонка, лёхко!

Волнуется гул голосов и тяжёлый запах гнили, водки, пота, рыбы, дёгтя, луку.

Люди расхаживают по мостовой, мешая двигаться лошадям, кричат, торгуются, смеются.

Высоко над ними — голубая лента неба, мутная от пыли и грязи, поднятой на воздух этой улицей, в которой даже тени от домов кажутся сырыми и пропитанными грязью...

— Голантегейного товаг-у! Ниткэ! Иголкэ! — возглашает Каин, следя за Артёмом, страшным для него более, чем для других.

— Пирогы со грушай, покупай да кушай! — звонко заливается молодая пирожница.

— Луку, зелёного луку-у!.. — вторит ей другая.